

## *Послевоенное детство. Снова Ленинград.*

### *На «седьмом небе»*

Во время Великой Отечественной войны как годовалый ребенок я «подлежала обязательной эвакуации».

Мы пережили все трудности эвакуации, и бомбежки, и голод, и взорванные железные дороги.

Через несколько месяцев таких скитаний у меня начался голодный понос.

Когда при обстрелах надо было выскакивать из до отказа набитой теплушки и прятаться где-нибудь в придорожном лесочке, маме все чаще стали говорить: «Брось ты ее. Вон, как тряпка у тебя на рука висит. Куда ты с ней пойдешь. Только себя погубишь».

А мама, сама качаясь от голода, только сильнее прижимала меня к себе.

В начале 1942 года мама и бабушка, больные, изможденные, неся меня попеременно на руках, и держа в руках бидончик с моими пеленками (все, что осталось от семейного имущества), прибыли, наконец, в Сталинабад, столицу Таджикистана. Теперь она называется Душанбе.

Очень красивый город между гор. Мне запомнились верблюды, которые медленно двигались и, вскинув головы, плевались.

Было солнечно, жарко, ноги жгло сквозь подошвы. Очень хотелось есть. Я даже пробовала пить жидкое мыло из темно-зеленой бутылки.

Были мы в эвакуации вместе с Верой Васильевной Романовой — Вервасочкой, с которой мама до войны жила в Арсенальной башне Гатчинского замка.

Ютились в передней деревянного дома, где с потолка текла вода. Умерли бы, наверное, с голоду, если бы не наша Вервасочка. Она отдавала мне свою карточку на получение нескольких поварешек сарой затирухи со свиными хвостиками.

Они с мамой сдавали кровь, а причитавшийся за это сухой паек приносили домой.

Вера Васильевна работала на заводе, мама — в больнице, куда привозили раненых. Иногда мама меня брала с собой. Весь длинный темный коридор был забит лежащими на койках. Мама сразу же убежала в палату, а я оставалась «здороваться с ранеными».

Мне было три года, я еще еле ходила и была очень серьезная. Отцу на фронт мама с болью писала: «Наша Наташенька растет молчаливым угрюмым дичком».

Но я подходила к каждой койке, останавливалась, ждала пока на меня посмотрят, и здоровалась. Иногда меня гладили по голове, протягивали руку или просто улыбались. Тогда я шла дальше.

Иногда я видела только кровавые бинты и слышала стоны, тогда я долго стояла молча и ждала. С соседних коек мне говорили «Иди, дочка, иди дальше, он потом с тобой поздоровается».

На мое имя пришло письмо из Главного Штаба. В нем говорилось: «Ваш отец Помарнацкий Андрей Валентинович удостоен ордена Красной Звезды».

В последнем письме в Сталинабад папа писал с фронта:

Получил, Маша, твое письмо. Вы живы, слава Богу...

Военные новости вы знаете. Они радуют...

Значит наша Нюня (папа называл меня Нюней, потому что так звали в детстве его маму, Анну Михайловну) не плачет, хотя ей и плакать не грех. Война не лучшее время для детей. Ну, Бог вас хранит.

Целую ручки Пелагее Петровне и Вере Васильевне.

Твой Андрей.

У нас была одна жгучая мечта — конец войны и возвращение в Ленинград.

Как только с Ленинграда сняли блокаду, мы стали собираться — маму вызывало «ЛО». Я запомнила «ЛО» на всю жизнь, оно нас звало домой.

«ЛО» — это архивное управление Ленинградской области. Оно прислало маме вызов.

В Москве нас долго не пропускали в Ленинград, и мы жили на вокзале.

Мама и бабушка ложились ночью прямо на пол, меня поместили в «Детскую комнату». Днем с нами занимались — мы ходили

по кругу и пели, но покормить детишек тогда не было возможности. Вечером мама приносила два кусочка хлеба, тоненько помазанных маргарином, я жевала их молча, сосредоточенно.

Ночью во всех помещениях оставалась гореть только одна лампочка, и было страшно. Койки стояли вплотную одна к другой. Я тихонько толкала девочку рядом, и она, не проснувшись еще, спускала вниз худенькие ножки. Проползая за ее спиной, бежала по холодному коридору в «горшечную». А она, ссутулившись, сжавшись в комочек, ждала, когда я вернусь. В моем сердце и сейчас живет благодарность к этому маленькому надежному человечку.

В начале марта 1944 года мы вернулись, наконец, в Ленинград.

Поезд прибыл рано. Город поразил тишиной и огромными пустыми пространствами.

Увидя вдали Неву, я солидно констатировала: «Какой большой арык» (арыком называли в Сталинабаде вырытые канавы).

В небе над городом настороженно зависали аэростаты. Окна домов были заклеены крест-накрест полосками бумаги.

Мы шли и не знали, цел ли наш дом или его уже нет. Я тащила чайник, и бабушка сказала: «Не стучай чайником по земле. Он потечет, и нам не из чего будет пить чай». Я крепко сжала руку, подтягивая его выше. Очень старалась, ведь мы собирались дома пить чай!

Было много разрушенных домов. На одном из них на втором этаже ножкой за балку зацепилась кровать и висела, покачиваясь. В глубине комнаты стояли стол, диван, а полдома совсем не было...

Людей, казалось, тоже не было в городе, но на улице Чайковского встретила женщина, она улыбнулась нам, потому что поняла: мы возвращаемся домой.

Наш дом с «шишечкой» — башенкой — стоял на своем месте, на углу улицы Каляева (ныне Захарьевской) и проспекта Чернышевского. Он и сейчас стоит, этот дом в стиле модерн с белыми кафельными плитами.

Мы вошли в дом и поднялись на седьмой этаж. Стали жить в той же комнате, в которой жили до войны, но теперь она была без окон и без двери. Не было отопления, а иногда и воды. Тогда мы с бабушкой спускались в нижние этажи с бидончиками, и соседи наливали нам воду из под крана.

Иногда вода вообще не поступала в дом, тогда жильцы дома тянулись гуськом к Неве, и спускаясь по камешкам пологого берега, набирали из нее воду. Нам приходилось поднимать ее выше всех — на седьмой этаж.

Когда-то, в 1920-е годы эту комнату в коммунальной квартире получил мой отец. Ему нравилось, что она на «седьмом небе», потому что «он не думал, что у него родится дочка», — так сказал папа. А мама говорила, что ему просто понравился вид с седьмого этажа на изгиб Невы у Смольного монастыря.

Вернувшись из эвакуации, мы нашли комнату пустой, в углу валялись пружины от нашего довоенного дивана, который соседи сожгли в холодную зиму 1942 года. На стене я попробовала пальцем незнакомый мне по Сталинобаду снег.

Но даже такая совершенно голая комната, по которой гулял ветер, была счастьем. Это наш дом в Ленинграде.

День, когда мы вошли сюда, был первым счастливым днем в моей жизни...

Мы ждали Победы, верили в нее, каждый день слушали на улице, останавливаясь возле черных тарелок рупоров, сводки с фронта.

9 мая 1945 года у меня сильно болело ухо, наверное, простудилась в нашем, еще не обетованном жилище. Мама, запыхавшись, прибежала на седьмой этаж, схватила меня, замотала какими-то теплыми тряпками, и мы побежали к Литейному мосту, чтобы не опоздать на праздничный салют.

Люди стекались к мосту как огромная река, стекались по одиночке, по двое-трое, образуя собой мощный людской поток. Чувствовалось, что должно произойти что-то необыкновенное. Ждали салюта Победы.

Сам салют я тоже запомнила, теперь фейерверки бывают более яркие и пышные. Но тот победный, единственный в мире салют, конечно же, остался самым прекрасным салютом, какой мне довелось увидеть.

Главное, все были вместе, много, очень много людей, весь Ленинград, и все счастливые, все обнимали и целовали друг друга, у всех текли слезы.

Все как одна большая семья, пережившая вместе столько горя и наконец в один день ставшая самой счастливой в мире.

Меня поднял на руки незнакомый военный, поднял высоко, и я увидела Литейный мост, всех людей, которым тесно было на нем. Это был не полупустой изможденный Ленинград, а незабываемая картина величия, единения и всенародного ликования.

Я счастлива, что присутствовала или, лучше сказать, участвовала, да, участвовала всем сердцем, всей душой в этом незабываемом для всех ленинградцев, для всей России, всего Советского Союза дне — Дне Великой Победы.

Наверное, с тех пор осталось чувство доверия к людям. Дети военного времени испытали на себе не только все ужасы войны, но и всю суровую доброту человеческого сердца в его самых тяжелых испытаниях.

После Дня Победы город на Неве стал быстро оживать. Вера в победу, в свою страну и ее людей — это тоже черта целого поколения — поколения, пережившего войну.

В нашем доме, в крошечной комнатке на седьмом этаже стали теперь жить наши друзья, возвращавшиеся в Ленинград. Жили у нас учительницы Ильины, тетя Соня и тетя Маня, бабушкины подруги еще со времен ее молодости.

Жил одно время и мальчик Лодя (Володя), года на три-четыре старше меня. В дом, где он жил со своей бабушкой, попала бомба, и им негде стало ночевать.

Тетя Соня сшила мне куклу с меня ростом. Это была моя первая настоящая игрушка. Считалось даже, что у нее закрывающиеся глаза, хотя они были нарисованы чернилами на ее большом круглом лице из старого чулка.

Лодя попросил себе такую же большую обезьянку, «можно без закрывающихся глаз».

Жила у нас Вервасочка, с которой мы были в эвакуации, потом Аня (Анна Александровна) Виленкина, с которой мама училась в университет до войны.

Маминых подруг я называла по имени, как называли их мама и бабушка. Они разрешали так себя называть, потому что «я пережила войну».

Потом жила Анина сестра. Ей поставили железную койку «сококожку» прямо посередине комнаты возле железной печурки. Все это казалось очень домашним и уютным после всех наших мытарств и скитаний.

Отдельная, да еще с печкой «буржуйкой», комната, где мы обогрели своих друзей! Сиделись к самой печке, смотрели на огонь, как плясали языки пламени.

На сдвинутых двух столах спала Ната Афиногенова, когда ненадолго приезжала в Ленинград. Она смеялась и плакала одновременно. Мама говорила, что она много пережила, и у нее расстроены нервы.

Когда с войны вернулся папа, он назвал нашу комнату «Ноев ковчег».

Бросил на пол вещевой мешок, поздоровался с бабушкой и подошел ко мне. Я болела и сидела с завязанным горлом в кроватке, которую нам дали соседи.

Он поцеловал мою липкую от сладкого чая руку и спросил:

— Почему мы в кровати?

Потом пошел в пустую комнату еще не вернувшегося с фронта соседа Ивана Степановича, расстелил на полу плащ-палатку, разложил вокруг себя книги и накрылся шинелью...

Комната с тех пор стала называться «родительской».

Папа мне показался очень сердитым — у него были мохнатые черные брови.

Когда с работы пришла мама, я ее сразу оповестила:

— Андрей приехал.

— Он тебе понравился?

— Не очень...

— Чем же он тебе не понравился?

— Глазами...

Работала мама в архиве на улице Воинова, теперь она называется Шпалерной. Отдел, которым заведовала мама, выявлял чертежи домов, разрушенных в годы войны. Затем посылал их в те учреждения, которые занимались строительными работами. Так, по первоначальным чертежам, быстрее шло восстановление города.

По субботам мама брала меня и Лодю на расчистку завалов на местах разрушенных зданий.

Мы вставали в общую цепочку наравне со взрослыми, передавая кирпичи. А, взрослые, улыбаясь, протягивали к нам руки, ожидая наш кирпичик.

Целые кирпичи складывали отдельно, штабелями, это нужный строительный материал.

На Сенной площади, где мы работали, рядом с церковью, которой уже нет, стоял настоящий боевой танк. Когда заканчивали разбирать кирпичи, мама разрешала нам с Лодей залезать на него. Мы испытывали чувство гордости, что участвуем в общем деле — «восстанавливаем наш город» — и ликующе махали с боевого танка красными флажками.

Папа стал работать в Эрмитаже в Отделе истории русской культуры и готовить путеводитель по его залам «Героическое прошлое русского народа».

Разговаривал он со всеми нами мало, только с мамой. Расположившись на полу «родительской комнаты» со своими книжками, вдохновенно писал. Рядом валялась смятая пачка «Беломора» и пепельница, которую он называл «пэпэльница».

Понятия о литературстве у нас с Лодей были тогда самые смутные. Нам казалось, что книги писать можно только так, как пишет папа, то есть, расположившись на полу на плащ-палатке и положив вокруг себя веером стопки книг.

Лодя даже научился точно также, как мой папа перелистывать страницы, открывая их сверху ногтем. После войны папа стал сильнее заикаться, и Лодя тоже стал заикаться из солидарности.

Рассказывал папа очень интересно, дух захватывало, но от слушателей требовал абсолютного внимания и подчинения, так что мы и моргнуть боялись.

Один раз, когда папа говорил о том, что храброго генерала войны с Наполеоном 1812 года князя Петра Ивановича Багратиона солдаты называли «Бог-рати-он», Лодя чихнул. Папа строго на него посмотрел и сказал:

— Не буду рассказывать.

Потом Лодя чуть не подавился, чтобы не чихнуть второй раз.

— Что-о? Чихать?

Тот замотал головой.

— Смотри-и! — не шутя, пригрозил папа.

Часто он брал меня в Эрмитаж.

Он смотрел на картину с таким выражением, что я понимала — это лучшее, что есть в мире, и кто этого не видел, тот никогда ничего не поймет в жизни.

Больше всего он любил произведения из жизни Христа: «Распятие», «Снятие с креста», «Пьета» и т. д.

Брал он с собой и Лодю. И вот мы втроем стоим в Эрмитаже перед картиной и смотрим, смотрим на нее. Стараемся представить, что и мы там, на кладбище рядом с Христом и Богоматерью.

Папа иногда поворачивался к нам и делал в воздухе рукой неопределенный зигзаг, как бы повторяя этим движением изгиб тела Христа, снятого с распятия.

Поворачиваясь к нам, папа каждый раз ожидал от нас понимания и сопереживания, а потому и соответствовавшего выражения лица, свидетельствующего, что мы понимаем всё: и трагичность момента и выразительность фигур, склонившихся над Христом.

Когда мы поднимались по эрмитажной лестнице, папины сослуживцы смотрели на нас и улыбались, а некоторые говорили: «Какие у вас, Андрей Валентинович, славные и красивые дети». Мы с Лодей скромно опускали глаза.

Потом мы приходили в зал и там уже ничего не слушали и не слышали, а только смотрели на его любимые картины, «чтобы в них вжиться», как считал папа. Он-то давно «вжился» и теперь приходил, чтобы только понаслаждаться и нас в них «вживить».

Вообще-то мы привыкли с Лодей выполнять все папины требования культурного музейного поведения: мы никогда ничего не трогали руками, разговаривали шепотом.

Нечаянно столкнувшись с кем-нибудь из посетителей, торопливо произносили: «Извините, пожалуйста»... И на «Пьету» смотрели, если не с умильными, то, во всяком случае, с умными лицами.

Один раз папа повернулся к нам, чтобы сделать рукой свой знаменитый зигзаг в воздухе, а Лодя в это время смотрел на девчонку, которая проходила с родителями мимо. Она показала нам язык. Слава Богу, он не высунул свой, но мину соответствующую он ей состроил.

Я тотчас же уставилась на картину, но было поздно. Выражение моего лица видно мало соответствовало тому, каким оно должно было быть.

— Ах, вам, сударыня, я вижу не интересно! Старый дурак, я мечу бисер! Ей интереснее какая-то глупая девчонка, которая неизвестно зачем пришла в музей! Ей на рынок с мамашей надо идти, а не в музей!

Далее он, а за ним и мы, проследовали к выходу...

Его характер становился врагом его самого.



Теперь папа все более походил не на князя Андрея Болконского (как это было в молодости), а на его отца, на старого князя, который характером своим «неудобоваримым» мучил своих близких и мучился сам.

Видимо, когда папа возвращался с фронта в его воображении вставал тот далекий образ дома, который жил в нем с детства, полный благополучия, нянек, гувернеров, горничных.

Реальность же разительно отличалась: пустая комната на седьмом этаже (бывшая ванная в огромной квартире доходного дома), да еще с выбитым окном и дверью. Обо всем этом надо было думать, заботиться, добиваться. А тут еще теща, которая еле ходит на распухших от голода ногах, и хиленький военный ребенок, вечно простуженный, обмотанный компрессами.

Я с болью в своей детской душе запомнила, как папа с неудовольствием выговаривал маме: «Почему ты ее так плохо одеваешь?» И мама оправдывалась: «Андрей, я ее от голодной смерти спасала. Неужели ты не понимаешь?»

Особенно трудно было, когда папа начал писать свою брошюру об Отечественной войне с Наполеоном. Хорошо зная документы, хронику событий, он видел и слышал самих героев.

А мы, все домашние, только разрушали его возвышенные образы, докучая всякими, как ему казалось, безделицами.

Мама несколько раз разговаривала с ним, чтобы жить врозь, но потом все оставалось по-прежнему...

Вот как это случилось в последний раз.

Когда мама ушла на работу, мы немного потолкались, побрызгались перед раковиной, и Лодя стал собираться идти удить рыбу.

Там, где сейчас гранитная набережная, в которую упирается проспект Чернышевского, раньше была отмель, стояли баржи, и мальчишки бегали туда удить рыбу.

Еще дальше почти под самым Литейным мостом на песчаном берегу стояла полуразрушенная часовенка. Лодя с удочками любил приходить сюда, а вечером гордо нес свой улов в стеклянной баночке.

В то утро папа был в плохом настроении. Он не любил рано вставать. Когда мы с кастрюлей пшенной каши вошли в еще пустовавшую комнату соседа (в которой временно разместились мои

родители), папа писал, лежа на полу. Он поднял голову и закричал: «Почему не стучите?!»

Лодя взял удочки, и мы стали уходить. Бабушка спросила: «Андрея покормили? Ну ладно, бегите. Я сама покормлю, пока кашка горяченькая».

Но получилось еще хуже. Не успела она войти, как мы услышали гневный голос: «Бог знает что! Невозможно работать!»

Это было в последний раз... Мама настояла, чтобы жить врозь.

И когда на этот раз мы вернулись домой со своим уловом, папа стоял перед мамой на коленях. Он быстро обернулся к нам и закричал: «Вон отсюда, вон, вон!».

Потом в комнате стало тихо.

Когда мы вошли, то увидели, что мама стоит у окна и смотрит на тот самый изгиб Невы у Смольного, из-за которого мы и оказались здесь, на «седьмом небе»...

Она грустно улыbnулась и сказала, обняв меня за плечи:

— Вот и все, Наташенька...

В тот вечер мы не ужинали, не мыли ноги, не чистили зубы... и, кажется, даже не разговаривали...

У меня было нелегкое детство, но я была окружена любовью и нежностью мамы и бабушки. И не только тогда, но и потом на протяжении всей жизни, на всех ее крутых поворотах, которые, видимо, неизбежны у каждого из нас — при встрече с несправедливостью, завистью или предательством — помогал мне свет этой любви.

Греет он меня и сейчас...

Когда мама была на работе, я гуляла на пустыре перед домом... Бабушка выглядывала в окно и кричала: «Наташа!» Лица ее не было видно снизу, я бежала на бабушкин голос и махала ей рукой.

На пустыре еще стояла тогда церковь Святых Захария и Елизаветы, от которой произошло название улицы «Захарьевская». Построили ее при императрице Елизавете, дочери Петра Великого.

После того как в здания, расположенные недалеко от нее, перевели казармы Кавалергардского полка, церковь стала полковой. В ней хранились полковые знамена, штандарты, а также Георгиевские кресты и медали, которыми награждались солдаты и офицеры.

Прапрадед мой Алексей Неофитович Прокудин-Горский был кавалергардом и ходил в эту церковь. Он, как мы помним, был человеком глубоко религиозным, близким другом Серафима Саровского.

В 1900 году Захарьевскую церковь в связи со столетием Кавалергардского полка перестраивал известный зодчий Леонтий Бонуа, а церковную утварь создавали мастера фирмы Фаберже.

В дни моего детства рядом с церковью росла старая плакучая ива. Сама церковь была заколочена, но ленинградцы ее знали и рассказывали о ней много интересного. Например, что перед началом блокады ива раскачивалась и гнулась, что двери церкви, украшенные вставками из фигурных зеркал, иногда вдруг внезапно вспыхивали ярким светом и тем помогали в темную блокадную зиму...

В послевоенные годы мы находили недалеко от церкви на пустыре кусочки зеркал и тончайшего расписного фарфора.

Весной, когда начинали звенеть ручейки, осколки зеркал и позолоченного фарфора пускали солнечных зайчиков. Я складывала из «этих стеклышек» свое имя и фамилию. Так литературная грамота постигалась мною с помощью волшебных осколков творений Фаберже...

Затем церковь снесли. На месте пустыря и разрушенной церкви построили Высшее военное инженерно-техническое училище (ВВИТУ).

На улице стали сажать деревья, чтобы создать бульвар. Ребяшки старались изо всех сил, помогали, кто как мог. Я старательно высаживала липу напротив места, где некогда стояла Захарьевская церковь.

Сейчас нет ни грустной церкви, ни скульптуры «Три грации» по дороге в Таврический сад, где в юности мы назначали свидания. Но на новых скамейках бульвара, как и прежде, сидят влюбленные...

В школу я пришла, умея читать и писать, бабушка научила меня этому в четыре с половиной года.

Для детей даже в то трудное время издавались книжечки, правда, совсем маленькие, на грубой шершавой бумаге.

Под обложкой со скрепленными прожекторами в книжке «Зеленые цепочки» рассказывалось о сигнальных знаках, сообщавших врагу, какие объекты в первую очередь следует бомбить в осажденном Ленинграде. Но дети, как и взрослые, тоже были патриотами несломленного города на Неве. Многим из них удавалось заметить эти зеленые огоньки, предательски вспыхивавшие из подворотен или с крыш опускавшегося в темноту города.

Я по слогам читала эти маленькие книжечки о войне, о шпионах, о трудной и одновременно героической жизни ленинградских детей в годы блокады...

Еще больше я любила слушать, как читает бабушка. Тогда в один день мы прочитывали с ней сразу несколько книжек, и потом я пересказывала их маме, как только она возвращалась с работы.

Мама уже с порога спрашивала: «Сколько прочитали? Шпиона уже поймали?»...

Я сидела на маленькой скамеечке, прижавшись к бабушкиным коленям, и слушала. Она читала мне не только детские книжки, но и исторические повести, а также биографии выдающихся русских полководцев. Тогда выходила военная серия о Дмитриии Донском, Кутузове, Суворове и др.

Бабушка любила мемуары, книги по искусству и про путешествия. Если она замолкала на секундочку, я обнимала ее и, снизу заглядывая ей в глаза, торопила: «Чит! Чит! Чит, пожалуйста!»

Она знала наизусть много стихов, и вслед за ней я повторяла прекрасные строки Фета, Плещеева, Бальмонта.

Когда за окном становилось совсем темно, зажигали тусклую лампочку с самодельным абажуром под самым потолком. Бабушка говорила: «Теперь скоро Машенька придет». И мы, прижавшись друг к другу, ждали.

Заслышав мамины торопливые шаги в коридоре, я срывалась и неслась ей навстречу...

Одно время я ходила в детский садик. В нем не было еще никакой мебели, мы сидели вдоль стен прямо на полу, перепачкавшись в красной мастике.

Когда я болела, бабушка приносила из садика мой обед — два оловянных судочка, поставленных один на другой: с супом и с перловой кашей. Ко мне все время что-то «липло»: то коклюш, то корь, то краснуха, то ветрянка, и мама решила забрать меня из садика и оставить дома с бабушкой.

Хорошо, дружно жили мы с бабушкой. Делали с ней гербарии и елочные игрушки. Особенно любили играть «в театр»: вешали под столом «занавес», писали «декорации».

Я начала сочинять стихи для театра.

«Посмотри вокруг себя внимательно, — говорила бабушка, — и напиши о том, что ты видишь и чувствуешь».

Я посмотрела, увидела ходики на стене и написала:

В комнатке уютной  
Тикают часы...

Однако «комнатка» скоро перестала быть «уютной».

Пришли за мамой...

Она никогда ничего не рассказывала и сейчас не может говорить на эту тему.

Стал приходиться один и тот же человек.

У него как будто не было лица — только бледное пятно под вельюровой шляпой... Как только он появлялся, мама надевала ватник, в котором она восстанавливала Ленинград, и уходила с ним.

Каждый раз мы прощались с ней навсегда...

Мама сказала тогда, что я должна помнить, что она была и осталась до последнего честным человеком.

Длилось это долго...

Как-то раз уже в дверях мама приостановилась и шагнула ко мне: «Наташик, мой родной! Я тебя и из могилы любить буду!»

С работы мама должна была уволиться...

Но однажды пришел другой следователь. Это был уже 1953 год... Больше маму не вызывали в Большой дом.

В том же году реабилитировали Афиногеновых, и Лерочка, «гатчинская звездочка», стала жить у нас на «седьмом небе»...

Летом мама отправила нас с бабушкой в Сестрорецк.

\* \* \*

В годы войны в учительский дом на Зоологической улице в Сестрорецке, где раньше жила моя бабушка, попала бомба. Когда вернувшись из эвакуации, мы приехали в Сестрорецк, дома уже не было. В воронке с обуглившимися бревнами шелестели листы маминих студенческих конспектов, торчала черная чугунная сковорода...

Бабушка так скучала по Сестрорецку, что мама стала снимать там комнатку на лето.

Приезжали мы рано, в канавах еще лежал снег, пахло прошлогодними листьями.

Воду поднимали в ведре на длинной железной цепи из глубокого колодца. Поднять полное ведро воды нам с бабушкой было не под

силу, и цепь с полупустым ведром, сильно раскачивалась, стучала по стенкам колодца, производя страшный грохот.

Ходили далеко в город за керосином в специальную керосиновую лавку. Готовили на примусе, который из-за маломерности комнатухи некуда было ставить. Тогда отворачивали матрац на кровати, и так готовили обед.

Когда мы приехали в первый раз в Сестрорецк, цветы иван-чая в Дубках были выше меня.

За вал на Дубковском шоссе ходить воспрещалось, на куске фанеры было написано: «Запретная зона».

От вала мы сворачивали к заливу. Такого песочка, белого, шелковистого мне потом никогда не приходилось встречать. Доходили до Курорта. По берегу залива высились сосны с темными кронами и красными от закатного солнца стволами.

Курзал Курорта был разрушен, но его деревянный остов по-прежнему красовался ажурной резьбой балконов и веранд. Шумели заросшие тенистые аллеи. Веяло грустью покинутости и таинственностью утраченной красоты.

Несколько раз вечером, когда было уже поздно, мы видели, как на пляж вывозили инвалидов войны, молодых парней, у них не было ни рук, ни ног. Они громко смеялись, радуясь морскому воздуху и воде. Забыть это невозможно.

Война все еще продолжала напоминать о себе: воронки вместо домов, доты, дзоты. Совсем рядом с Сестрорецком рвались мины.

Пленные в пятнистых маскхалатах убирали завалы. Во дворах домов то и дело находили осколки снарядов.

На улицах бабушку часто останавливали ее бывшие ученики. Она называла их всех по именам. Позади испытания войны, потери, а старая учительница в белой панамочке помнит все детские шалости и успехи своих питомцев.

Я держала бабушку за руку, ощущая то поле уважения и добросердечия, которое исходило от этих встреч.

Сохранились в памяти некоторые имена учителей: Наталия Андреевна Стычкова, Анна Андреевна, Ева Яковлевна, которая жила на Дубковском шоссе. Эти учителя принадлежали к прежнему поколению: у них не было ни маникюра, ни накрашенных губ, ни золотых перстней.

Лица их, строгие и светящиеся, напоминали иконы, столько в них было терпения и милосердия.

Бабушка не могла без своих бывших коллег, у нее с ними было общее призвание, и она часто навещала в дом, где после войны стали жить учителя. Его называли «черным» — он был почерневшим от времени, бревенчатым, двухэтажным.

Кончилось тем, что учительницы перевезли нас к себе в «черный дом».

Когда в воскресенье приехала мама, то комната, которую она нам сняла (и гордилась тем, что сняла теплую комнату), оказалась пустой: «Съехали», — отрезала хозяйка.

Мама переживала из-за теплой трубы в той комнате и пропавшего задатка. Но в «черном доме» было тепло верных друзей, и задаток был не нужен.

Дом стоял во дворе прямо за школой, не далеко от железной дороги. Из Ленинграда в Сестрорецк ходили тогда паровозы. Когда они приближались, выходила дежурная с выцветшим флажком.

Каждое воскресенье я встречала маму, приезжавшую на выходные дни. Вглядывалась в окна всех вагонов, прежде чем вдруг в рассеивавшихся клубах пара увижу идущую по перрону и улыбающуюся мне маму.

Когда сейчас, столько лет спустя, я слышу песню «Стою на полустаночке», у меня перед глазами всплывает насыпь за «черным домом», кусты бузины и перрон Сестрорецкого вокзала с фигурами встречавших, напряженно всматривавшихся в бегущую ленту железнодорожного полотна.

В учительском доме, где мы теперь жили, пахло прогретыми солнцем бревнами, и было очень чисто: пол длинного коридора почти всегда оставался влажным, так как его постоянно мыли.

Люди, только что вышедшие из испытаний войны, жаждали чистоты и красоты. Они не жалели на это ни времени, ни сил. В коммунальных кухнях на грубых деревянных полках висели трогательные бумажные занавески с фестончиками.

Перед домами сажали цветы. В некоторых палисадниках был душистый табак, вечерами струился его сладкий запах. Чаще всего сажали скромные ноготки или настурции. Они желтели огненными пятнами в вазах на вокзале, в сквере напротив школы.

Самые красивые клумбы были разбиты перед заводом имени Воскова. Это место очень живописное: чугунная ограда, шоссе, по которому неслись машины в Ленинград, и озеро Разлив, темно-синее, иногда свинцовое, казавшееся морем.

То, что инструментальный завод был основан Петром I и имел славную историю — здесь работал знаменитый оружейник, изобретатель русской трехлинейной винтовки Мосин, что рабочие завода ковали победу в годы Великой Отчественной войны, — знали в Сестрорецке все, от мала до велика.

На заводе выполнялись также и высокохудожественные изделия, среди них уникальные весы для развески золота и знаменитая серебряная рака Александра Невского.

После окончания смены на заводской двор высыпали с засученными рукавами и в парусиновых тапочках «фабричные девчонки», о которых так тепло написал потом в своей пьесе Александр Володин.

Завидев меня, они улыбались. Одна из них наклонилась ко мне: «У тебя глазки черные, ты их не моешь?» — поцеловала, а потом застеснялась.

Многие из этих девушек шли на завод из детских домов. Они с нежностью, которой им самим так не хватало, относились к послевоенным малышам.

На заводе вскоре открыли библиотеку, в клубе стали устраивать танцы, на гармонии играли «Ой, рябина кудрявая, белые цветы»...

Сняли, наконец, запретную зону в Петровских Дубках. Открылась перспектива Дубковского шоссе. В самой ее дали, в арке, образуемой кронами дубов, на фоне неба и залива вырисовывались огромные, как будто первозданные валуны.

Слева от валунов, там, где речка Гагарка впадала в залив, соорудили беленый обелиск с красной звездой, а поодаль — лодочную станцию. Сюда приходило много народу: загорали, катались на лодках. На постаменте обелиска всегда лежали свежие полевые цветы, иногда ветки дуба.

Всех, кто не пришел с войны, хорошо знали. Для Сестрорецка они оставались живыми. Их мамы приходили к бабушке поговорить «о сыночке», которого уже не было.

С молоденькой учительницей Леночкой Даниловой мы ходили на кладбище, где за часовенкой был похоронен ее пятилетний Женечка, умерший в самом конце войны от общего туберкулеза.

На Дубковском шоссе открылся кинотеатр «Прожектор», смотрели там «Маленькую маму», «Петера», «Веселых ребят», «Первоклассницу».



На берегу озера начали работать бани. Выходили оттуда всегда красные, распаренные, закутанные в платки. Держа в руках собственные тазы, расходились по городу.

Вечером с берегов Гагарки возвращалось стадо коров, поднимая облака пыли. Лучи солнца, пронизывая их, придавали картине торжественное, почти мистическое звучание.

Я знала «в морду» всех Зорек, Ночек, Звездочек, Буренок и разводила их «по домам», открывая калитки и заставляя преодолевать мостки и канавы. А потом, ощущая босыми ногами теплую дорожную пыль, бежала с бидончиком за парным молоком.

Дома в Сестрорецке в большинстве своем были деревянными, с мезонинами, с резными крылечками и верандочками. В них хотелось заглянуть. Казалось, там идет таинственная жизнь, которую так проникновенно описывал Бунин. Комнаты заполнял загадочный полумрак от густой зелени сада, потускневших зеркал и старинной мебели.

На одной из старых дач на Дубковском шоссе, принадлежавшей, как говорили, известной балерине Мариинского театра Люком, всегда царил тишина, иногда можно было видеть шезлонг.

Я запомнила этот игрушечный домик в глубине аллеи осенью: с желтыми опавшими листьями и белыми грибами возле забора, которые я пыталась достать бабушкиной палкой.

Некоторые дома имели необычные башенки, шпили, окна самой причудливой формы.

Эти деревянные домики подходили сестрорецкому ландшафту, подчеркивая красоту и разнообразие природы — песчаный берег залива, смолистый запах сосен, шумящие вековые дубы, бьющие глубинные ключи и россыпи розово-сиреневого вереска.

Помню две резные беседки, которые стояли прямо на улице и красиво смотрелись сразу с нескольких перспектив.

По преданию, в одной из них выступал Федор Шаляпин для рабочих сестрорецкого завода. Мне казалось, что это была та беседка, которая недалеко от Курорта, еще сохранявшая цветные стекла густых, насыщенных тонов: желтые, синие, красные.

Заберешься туда — все залито солнцем и как будто горит драгоценными камнями. Настоящая сказочная декорация. В этой беседке с витражами я читала стихи и раскланивалась после каждого номера. Редкие прохожие удивленно останавливались и начинали мне аплодировать.

Мне хотелось стать учительницей, как моя бабушка, или писательницей, как моя мама, но больше всего — артисткой, как великая Ермолова.

Я даже пошла поступать в детскую театральную студию. Вырядившись в единственное мамино нарядное платье, достававшее мне до пят, с большим пафосом прочитала стихотворение Лермонтова «Родина»:

Люблю Отчизну я, но странною любовью!  
Не победит ее рассудок мой.  
Ни слава, купленная кровью,  
Ни полный гордого доверия покой,  
Ни темной старины заветные преданья  
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

После этого комиссия наотрез отказалась слушать в моем исполнении обязательную по программе басню.

Мама говорила, что специальность надо выбирать серьезно, что призвание, как и любовь, не бывает приблизительным.

Только найдя свое настоящее призвание, человек может стать счастливым и делать полезное людям.

Мы, дети войны, очень хотели стать счастливыми, и чтобы другие тоже были счастливы.

В Сестрорецке жил не только Шаляпин, творческая интеллигенция любила этот дачный городок.

Первый послевоенный ресторан открылся в Сестрорецке на Дубковском шоссе в длинном деревянном строении, сильно напоминавшем сарай.

Бабушка однажды повела меня туда, и мы заказали макароны с котлеткой.

Это была скорее «столовка», как говорила бабушка, но у входа стоял медведь с подносом, что придавало некоторый шик и воскрешало дух ресторанных традиций старого Сестрорецка XIX века.

Когда мы уходили, швейцар в форме, расшитой позументами, пригласил нас вечером послушать музыку.

На другой день, сжимая в кулаке монетки, я прошла по ковровой дорожке и «заказала шарик эскимо».

Играл патефон, танцевало несколько пар. Женщина с женщиной. Потом поставили «Синий платочек», одна из женщин запла-

кала. Я доела свой «шарик», сказала швейцару спасибо и, минуя бу-  
рого медведя, вышла.

На улице, у входа ждала бабушка.

Во дворе учительского дома играли в лапу.

Еще чаще играли «в войну». Командовал Юрка, у которого  
на фронте погиб отец.

Когда он поступал в Суворовское училище, я ему подарила  
книгу «Счастливый день суворовца Криничного», долго перед этим  
заворачивая ее в прозрачную бумагу и завязывая на ней голубую  
ленточку бантиком.

Он поблагодарил, но тут же с досадой заявил:

— Это все ерунда (это касалось моей ленточки и бантика).

Главное надо быть сильным и честным, чтобы на земле всех гадов  
убрать. А вдруг и нас на фронт позовут!

Мы жили, как бы примеривая себя к историческим событиям.

— Женщин туда (то есть на войну) нельзя посылать, — автори-  
тетно рассуждал Юрка, — вон, что с Зоей Космодемьянской фрицы  
сделали...

И добавил, глядя на меня:

— А ты, если что, бей врага под коленку...

Что касалось меня, то я всячески боролась с собственной трусо-  
стью: выходила ночью в темный шумящий сад и, сжавшись от страха,  
передвигалась от одного дерева к другому.

Третье лето подряд читала «Тимур и его команда» Аркадия  
Гайдара.

Команда такая была и у нас. За Тимура — Юрка. Штаб нашей  
команды размещался то на чердаке, то в заброшенном сарае, но чаще  
всего в шалаше. Похожие шалашы попадались в Дубках и на Черной  
речке, значит, мы были тогда не одни.

В штабе мы собирались, чтобы обсуждать планы наших дей-  
ствий, хранили списки, кто из нас кому должен помогать и как это  
лучше делать.

Однажды я облюбовала для нашего штаба небольшой сруб, за-  
сыпанный землей. Освободила его от всего лишнего, вычистила  
землю и поставила бутылку с «букетом» львиного зева. Штаб нашей  
«команде» понравился, настоящий дворец.

Вечером хозяйка соседнего дома жаловалась бабушке, что кто-  
то ей «в одночасье» весь парник разорил.

На другой день без всякой, казалось бы, связи с парником бабушка мне сказала: «Добрые дела можно и без дворцов совершать».

Это было то время, когда читали Аркадия Гайдара, когда писал Михаил Зощенко. Его литературные персонажи в жизни нам тоже попадались. Однажды нас пригласила к себе толстая дама, открыла огромный платяной шкаф. Платья там были напиханы так, что даже подола у них не колыхались. Она выдерживала то одно, то другое, демонстрируя их нам.

Потом, как бы желая расположить нас к себе, сказала: «Вот так, мы живем не только для того, чтобы покушать, но и чтобы хорошо одеться».

Вышли мы совершенно оглушенные, и только когда кто-то из нашей «команды» ехидно заметил: «А что, эта квашня на рояльных ножках их сразу все одевает?» — засмеялись.

«Хорошо одеваться» — не задача жизни!

Другое дело, что в Сестрорецк должен приехать «детский писатель Ленька Пантелеев». Выступить будет в доме отдыха пограничников, куда попасть совершенно нереально.

Выручила бабушка: «Сколько вас, — строго спросила она, — двое?» Оказалось, двенадцать.

В назначенный час бабушка стояла перед воротами санатория в своей белой панамочке. За нею чинно выстроились мы. В результате охрана доложила начальству санатория, что пришла «детская делегация».

И хотя «Ленька Пантелеев», к нашему немалому удивлению, оказался «взрослым дяденькой», мы никак не нарушили торжественной тишины, царившей в зале. Он рассказывал о своей жизни, о беспризорном детстве, с которого началась его потребность писать.

Потом прочитал рассказ «Честное слово» — о том, что главное в человеке его честь.

И этому надо учиться с детства. Чувство личной чести и ответственности не может проявиться как-то «вдруг», само собой. Это требует большой работы души и большого мужества. Это хорошо понимали и моя бабушка, опытный педагог, и писатель «Ленька Пантелеев», и военные пограничники, прошедшие Великую Отечественную войну. Потому-то и состоялась эта встреча.

Она произвела на нас такое сильное впечатление, что мы решили организовать какую-нибудь похожую «творческую встречу» в нашей

3-й школе. Бабушка считала, что если как следует подготовиться, то можно пригласить на вечер детского творчества военных пограничников, находившихся на лечении в сестрорецком санатории.

Готовились с полной отдачей. Мальчики вырезали, лепили и клеили пушки, самолеты и кораблики, а мы, девочки склеивали из открыток коробочки, которые собирались дарить военным.

Многое из подготовки этой встречи будет потом описано в книге моей мамы, которая называется «Вавка» по имени главной героини, шестиклассницы Валентины — Вавки.

Работая над «Вавкой», мама читала мне свою рукопись. Я очень благодарна ей за это. Мне тогда захотелось самой научиться писать. Писать, писать, писать...

Когда в нашей школе объявили «Вечер литературных героев», мы сели шить цыганский костюм, вырезая из конфетной фольги кружочки монистов и разрисовывая цветами марлевую юбку ...

Приз с надписью: «Ученице 5„А“ класса Наташе Нарышкиной за лучший костюмированный образ Земфиры из поэмы А. С. Пушкина „Цыгане“» у меня и сейчас лежит на письменном столе.

Потом были костюмы «Княжны Мэри» и «Барышни-крестьянки».

На эти школьные маскарады приходили мальчики из соседней школы (обучение было тогда раздельное).

На лестнице их встречали дежурные девочки с огромными бантами, повсюду царило радостное оживление. Мальчики приглашали нас к себе в школу на спортивные состязания или на каток в Таврический сад.

Все это я стала описывать в своих школьных рассказах. Главного героя, круглого отличника, прекрасного спортсмена и известного скрипача назвала Эриком, для конспирации, чтобы никто не узнал.

Рассказы о жизни и любви идеального Эрика «вывешивались» в нашей школьной стенгазете. Их уже поджидали любительницы школьной словесности.

Однако учительница литературы Екатерина Андреевна моим «школьным рассказам» предпочитала «школьные сказки», находя «этот жанр более перспективным». Она порекомендовала их на городскую олимпиаду, а та направила на радио.

Туда мы пошли вместе с Екатериной Андреевной, которая собиралась дать краткий обзор моего юного творчества. Но перед самым

выступлением, вытирая лоб платком, заявила, что даже не представляла, как это страшно. Впервые наша всемогущая учительница чего-то боялась.

На радио я прочитала сказку: «Не простое это было звено, но и не золотое...»

На другой день я, если и «не проснулась знаменитой», то, во всяком случае, в школу вошла таковой, на самых вершинах всеобщего ученического признания.

С мамой я разговаривала теперь только о «профессиональном мастерстве писателя» и о «писательской лаборатории»...

Моя мама издала несколько книг. Работая в архиве, она выпускала сборники исторических документов. Когда на свет появилась я, мама стала писать детские рассказы.

Кроме рассказов она опубликовала две книги для детей. Первая из них — книга о физиологе Иване Петровиче Павлове, которую высоко оценил ученик Павлова академик Быков, — вышла на нескольких языках. Издание на китайском языке совсем недавно я передала в мемориальный музей И. П. Павлова.

Вторую мамину книгу — «Вавку» — собирались переиздать в Московском издательстве, но «перестройка» спутала планы.

Книга нравилась ребятам, и мама получала много приглашений в школы и детские библиотеки.

Одна из юных читательниц даже вышла глადью улыбающуюся физиономию неугомонной Вавки.

Как-то раз нам позвонила учительница и пригласила маму на встречу со школьниками, которые только что прочитали «Вавку».

Условились о времени, но мама неожиданно заболела. Ее очень беспокоило, как же это, она не сможет придти, а дети будут ждать. И она послала им телеграмму:

Дорогие ребята!

Придти к вам, как обещала, не смогу, заболела.

Как только поправлюсь, сразу же встретимся.

Всего Вам самого доброго

С уважением

Мария Нарышкина

Это «взрослая телеграмма», обращенная к детям, очень им понравилась. Каждый из школьников, проходя домой, с гордостью заявлял:

— Сегодня мне писательница прислала телеграмму!

Каждый считал, что это обращение лично к нему.

Потом, когда мама поправилась, но ехать на встречу еще не могла, мы пригласили ребят к нам домой. Немножко волновались, потому что надо было разместить у себя целый класс.

Ровно в назначенный час, в 16.00 на лестнице послышались приглушенные голоса, шопот, шарканье сорока ножек, звонок в дверь — и вот на пороге наш первый гость.

Маленький мальчик снимает с головы шапку ушанку и протягивает маме цветок: «Здравствуйте. Как Вы себя чувствуете?». А за ним уже переступает порог девочка с тонюсенькими косичками и тоже с цветком: «Здравствуйте. Как Ваше здоровье?»

И так 40 раз... «Здравствуйте. Вы уже поправились?» — «Здравствуйте. Как состояние Вашего здоровья?»...

Мама здоровалась с каждым, помогала раздеться, а я провожала в комнату.

Сели прямо на пол, на ковер. Разговор пошел о том, что считали самым главным в жизни.

— Я от него не побежал, но я его испугался, — признавался мальчик, низко опустив голову и сосредоточенно ковыряя ладошку.

— Не обязательно сдачу давать, — мгновенноотреагировали «косички». — Можно словом воздействовать.

Ребята рассказывали про свои занятия спортом, несколько человек даже потыкали рукой о пол, демонстрируя приемы новейшей борьбы.

Как и героиня маминой повести «Вавка», они хотели быть лидерами. Для этого надо стать не только сильными и выносливыми, но и честными, справедливыми, «чтоб тебе верили», «чтоб уважали», «и чтоб слушались».

Мы же с мамой почувствовали себя пристыженными, что у нас в доме нет никаких животных, «хотя бы морской свинки», которые встречаются, как уверяли ребята, «изумительной красоты».

Беседа получилась доверительная.

Несколько раз мама встречалась с читателями в школах Сестрорецка.

Ведь именно в Сестрорецке рождался замысел этой книги, посвященной моей бабушке, заслуженной учительнице Пелагее Петровне Нарышкиной.

Когда эти странички моих воспоминаний были завершены, я решила снова съездить в Сестрорецк.

Уже на перроне меня встретили знакомые запахи «детства»: желудей в Дубковском заповеднике, осоки на берегу залива и заросшей бочаги у железнодорожного полотна...

На месте кинотеатра, деревянного ресторана и 3-й школы на Дубковском шоссе высятся многоэтажные дома.

В «поисках» своего детства я обратилась к пожилой женщине, которая проходила мимо.

Оказалось, она знает разбомбленный в войну учительский дом между Зоологической улицей и улицей Коммунаров, на месте которого до сих пор пустырь.

Знает и розовую школу № 3 на Дубковском шоссе.

— Это была, — сказала она, — начальная школа. Я ее закончила в 1940 году.

Так это же бабушкина школа!

С замиранием сердца спрашиваю:

— А вы не помните учительницу Нарышкину?

— Пелагею Петровну? Я училась не у нее, но ее хорошо помню.

Я подумала, что если напишу об этом, то мне, наверное, не поверят. Поэтому спросила:

— А Вы не назовете свое имя. Как Вас зовут?

Ответ был не менее удивительный. По далекой школьной привычке она ответила так, как будто ее спросила об этом учительница:

— Лиза.

Елизавета Викторовна Ануфриева, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института высоко-молекулярных соединений Академии наук.

Примечательное имя в истории Сестрорецка. Не только вкладом в современную фундаментальную науку, но и человеческими качествами. Многие ли помнят давних первых своих учителей?

Бабушке было бы сейчас 132 года, а я встречаю на улицах современного Сестрорецка незнакомую женщину, ее бывшую ученицу, которая ее хорошо помнит...

Память о своих учителях — это нравственная традиция, тот духовный стержень, который так нужен сегодня и о котором не уставали писать великие деятели культуры русской: красота души человеческой спасет мир.



\* \* \*

Бабушка говорила, что она за всю свою жизнь не встречала плохих людей...

Жили мы в послевоенное время трудно, но всё равно радовались: теперь все испытания войны закончились, и нас снова окружают наши давние добрые друзья.

Навещала нас бабушкина племянница Наташа Варасова (моя тетя Наташа), Наталия Николаевна, талантливый музыкант и кандидат биологических наук. Приходила всегда в черном костюме, только крепдешиновые блузки менялись.

А ее сестра Женя так и не вернулась из ссылки.

Это те девчухи, которые когда-то называли мою бабушку «тетей-мамой».

Поднималась на седьмой этаж и тетя Таня — Танечка Варасова. Теперь она была замужем за ученым, ботаником Верзилиным.

Иногда Верзилины приходили вместе. Николай Михайлович дарил свои книжки. Внимательно разглядывал картины, которые писала бабушка. Были здесь портреты, но больше пейзажи, яркие, напряженные по цвету.

Николай Михайлович хвалил громогласно и безапелляционно: «Таня! Смотри — это же настоящий Рерих! Пелагея Петровна! Вам надо сделать выставку! Персональную! В Доме учителя!»

О Николае Михайловиче Верзилине я расскажу отдельно в следующей главе.

А пока о нашей жизни на «седьмом небе».

Часто бывала у нас наша Вервасочка. Мы переводили с ней французскую классику. Она работала в Библиотеке академии наук и всегда приносила оттуда почитать хорошие книги.

Книги Вервасочка любила как-то особенно.

Ее большие зеленые глаза, сильно близорукие, всегда смотрели в раскрытую книгу.

Она приходила к нам, брала в руки первую попавшуюся ей книгу и, держа ее очень близко перед лицом, начинала читать вслух, могла читать так весь вечер. Много читала Лермонтова, Бунина.

Она любила жизнь — любила театр, филармонию и сама хорошо играла на пианино, в особенности Бетховена.

Любила быть нарядной. В 80 лет вышла замуж за своего давнего друга и прожила с ним десять счастливых лет...

Тетя Таня учила меня музыке, но пианино у нас не было, и я ходила к ней домой на улицу Чайковского.

О своей маме могу сказать словами народной притчи о маленькой девочке, которая потерялась и плакала.

— Мы найдем твою маму, — утешали ее, — только скажи, какая она у тебя.

— Моя мама самая хорошая на свете, — ответила девочка.

Моя мама самая нежная, самая добрая на свете. Сердце ее полно любви и самоотверженности. Я всегда вижу ее ласковые любящие глаза. Строгой, даже суровой она становилась только, когда я была не внимательной к людям: не здоровалась, не говорила спасибо, не хотела помочь.

Вниманию к людям мама учила меня с самого раннего детства. Также и честности: «Человек, укравший, пусть только иголку — уже нечестный человек. Это путь к тому, чтобы стать вором, преступником». Я даже стала бояться этих иголок, из-за которых можно стать вором и преступником, и проходила как можно дальше от той коробки, в которой у бабушки лежали нитки с иглками.

У мамы летящая, поющая душа. Она всегда увлекала меня в водоворот каких то интересных дел, учила быть справедливой, стремиться к прекрасному и добиваться многого, преодолевать.

Чтобы делать добро, надо иметь мужество, — внушала мне мама, — нельзя раскисать, опускать руки.

Я училась еще только в младших классах, а мама уже водила меня на Васильевский остров, к главному зданию университета. Ленинградский университет! Студенчество! Научные открытия! — вот это настоящая мечта! «Ты закончишь университет и поступишь в аспирантуру», — говорила мне мама.

Мамина аспирантура не получилась из-за войны, и маме хотелось, чтобы у меня состоялись все мечты и возможности.

А если для этого ей пришлось бы разрезать себя на мелкие кусочки, она и тогда так же ласково, как всегда, продолжала бы смотреть на меня и так же радостно, подбадривающее улыбаться: «Как хорошо, что мы живем, Наташенька!»

— Мама твоя закончила университет, — обращалась к моему разуму бабушка. — Учись, деточка, учись в школе, в университете, в аспирантуре. Чем больше ты будешь знать, тем больше будешь нужна людям. Все русские интеллигенты думали, как помочь людям.

Эти увещевания, видимо, как то затронули мою детскую душу, по тому что, наконец, я согласилась учиться и спросила солидным басом:

— Ну ладно, сколько там в вашей анспиратуре классов?

Детские мои «изречения» мама записывала. Перечитывая их мы смеемся, когда выясняется, что вместо «хитроумный Одиссей» я говорила «сильно умный Алексей», а соседскую кошку «Маркизу» предлагала назвать «полным именем»: «Маркизой Ленинизмой».

У мамы не было «греха уныния». Какие бы горести не падали на нашу семью, мама никогда не жаловалась и никогда не была бесцветной. Я ни разу не видела ее хмурой или недовольной.

Казалось, она и усталой не бывает. Всю жизнь она служила нам: своей дочке и своей приемной маме, которая спасла ее от сиротства.

Мама любила нас, а любовь для высокой души и есть счастье.

Она высоко парила над всякими мелочами, выгодами и разборками. Всегда в полете.

Когда наступило время уйти на пенсию, мама пошла танцевать в группу «Кому за тридцать...». Два с лишним десятка лет танцевала «латину»: латино-американские танцы.

Тренировалась, шила концертные костюмы и выступала. А я ходила на эти концерты и «болела» за ее успехи. Танцевала мама до 85 лет, получала призы и грамоты, и никто не догадывался сколько ей лет!

Одно время мы записались с ней в кружок лепки, который назывался «Для детей и их мам». Размещался он в бывшей даче Шишмаревых, тех двух амазонок в бархатных платьях, которых можно увидеть в Русском музее на парадном портрете кисти Карла Брюллова.

Вел кружок скульптор Анатолий Михайлович Богачев.

На выставках произведений его учеников чувствовался принцип «творческой самостоятельности». Здесь были самые разные, непохожие друг на друга вещи: и дивно яркие бабы в юбках колоколом, и сказочные рыбы с павлиньими хвостами, и Иванушки-дурачки, надевшиеся покорить мир.

После участия в выставке мама стала работать над серией «Учителя и ученики». Весь жизненный опыт человечества покрывается этими двумя ипостасями: все в жизни своей бывают учениками, а затем и учителями.

Тема вечная и всеобъемлющая. Одновременно и личная наша тема, ведь в нашей семье три поколения учителей.

Фигурки легко бьются, ломаются. Обжиг в печах с высокой температурой укрепляет их, но вместе с тем и несколько деформирует. Тогда, например, улыбка учителя может чуть вытянуться или скривиться — и все пропало!

Потом к маме пришло увлечение персонажами сказок. Началось все с истории «Стойкого оловянного солдатика» — игрушечного солдатика на одной ноге, трогательно влюбленного в куклу-балерину.

Неоконченной осталась детская серия. Вот мальчик отстал в лесу от товарищей — у него сломалась лыжа. Мы с мамой очень любим этого глиняного курносого мальчишку с дымящимся обломком лыжи в руках, готового бороться с встретившимся волком.

Но и эта тема была отодвинута новой — «Дамой с собачкой». После А. П. Чехова «Дама с собачкой» стала символом женской любви, страданий и одиночества.

Одна из маминых «дам» была выставлена в художественной школе. Ее, печальную, с виновато опущенной головкой, возили в какую-то коммерческую мастерскую, чтобы сделать с нее куклу. По дороге у нее несколько раз ломалась шейка, и она «теряла голову».

Когда мы с мамой только еще пришли в Художественную школу, все здесь увлекались лепкой свистулеч. Мама сказала: «Если я научусь делать свистульки — буду самым счастливым человеком!» Видимо, ей это удалось, потому что вскоре весь наш шкаф заполнился свистящими лошадками, поросятами, львятами и т. д.

Мы стали дарить их нашим гостям — детям.

А потом сделали по-другому: на новогоднюю ночь поместили эти свистульки в целлофановые мешочки, туда же открытку поздравительную, конфетку какую-нибудь шоколадную; завязали бантики и разложили на скамейках заснеженного бульвара...

В морозную праздничную ночь люди вдруг обнаруживали «новогодние подарки», развязывали их, свистели и смеялись...

В деле ваiania и пластики нас вдохновляла Танечка Гагарина, петербургский скульптор и вообще очень талантливый человек. Она писала стихи, работала над оформлением книг.

Ее произведения декоративно-прикладного характера, женские украшения из керамики пользовались успехом в Лавке художника, что на Невском проспекте.

Танечкина мама Наталия Гавриловна преподавала французский язык в Коктебеле (Планерском). Двери ее дома всегда были широко раскрыты. В беседке тенистого сада собирались бывшие ученики Наталии Гавриловны и творческая интеллигенция, приезжавшая летом на Черное море в Коктебель.

Вечерами в беседке, увитой виноградом, зажигалась лампа под абажуром, а на столе ожидало гостей старинное фаянсовое блюдо с шелковицей, растущей в саду.

Коктебель — маленький прибрежный городок в Крыму, в котором пахнет полынью, горными травами и морским прибоем. Недаром здесь так легко творилось замечательному поэту и художнику «серебряного века» Максимилиану Волошину.

Человек возвышенной и благородной души, он ходил по берегу Черного моря величаво, драпируясь в античный золотистый хитон, запрокинув голову с развевающимися на ветру шевелюрой и бородой.

В Гражданскую войну прятал у себя на даче раненых, и «красных», и «белых», и заботливо их лечил.

Когда умирал, то свой сад, который с любовью и упорством создавал на скалистом берегу, и свой дом у самого синего моря завещал российским писателям.

Прекрасное место.

На пляже Дома творчества имени Максимилиана Волошина писатели, пристроившись на лежаках, правили свои рукописи. С веранд их деревянных дач доносился шум вылетающих пробок шампанского и разговоры о тиражах и редакторах.

В кафе на самом берегу моря они приходили целыми семьями, брали по чашечке чая с душистыми крымскими травами и шоколадные конфеты.

Вечерами в кинотеатре под открытым южным небом с крупными как бриллианты звездами смотрели фильмы. Выступали со своими новыми произведениями.

Волошина чтили, дарили в его Дом-музей свои книги и сборники стихов. Поклониться его могиле поднимались на самую вершину горы, это было настоящее паломничество.

Лихие 1990-е годы сильно изменили жизнь в Коктебеле. «Чокнутых» писателей и поэтов сменили напористые «новые русские». Теперь они заполняли дачи дома творчества. Заходили в музей Волошина прямо с купания, в плавках, с банкой пива в руках, оставляя

босыми ногами мокрые следы. И, не скрывая некоторого раздражения, недоумевали, что «такого особенного в этой фазенде».

В Доме творчества Коктебеля мы и познакомились с Наталией Гавриловной Стамовой-Гагариной и ее дочкой, скульптором Танечкой Гагариной.

Для Крыма — своей родины Татьяна Гагарина выполнила, а затем и подарила две монументальные скульптуры.

Бюст Александра Грина работы Татьяны Гагариной украшает собой Домик-музей писателя. А выполненная ею бронзовая героиня повести Грина Фрези Грант — «Бегущая по волнам» — стоит с тех пор на могиле писателя в Старом Крыму.

Танечка Гагарина заходила к нам в Ленинграде, рассказывала о своих творческих планах и о своей маленькой дочке Дашеньке.

Кроме Гагариной частой гостьей на «седьмом небе» была еще одна Татьяна: Татьяна Викторовна Смирнова, сестра Георгия Викторовича, которого мама считала своим первым учителем по Гатчинскому дворцу. После войны он работал в Русском музее.

В первый раз в Русский музей мама привела меня еще за ручку, когда мы только вернулись из эвакуации.

Мы вошли в зал, где, как мне тогда показалось, всю стену занимала картина, освещенная отсветами полыхавшего пламени — «Последний день Помпеи». Люди гибли при извержении Везувия, но оставались прекрасными, потому что думали не о себе, а помогали друг другу.

Я не успела еще рассмотреть картину, как мама увидела своего знакомого. Он сидел в зале за круглым столиком, на рукаве у него была красная повязка, перед ним лежала книга отзывов.

Война только окончилась, все радовались, что открылся музей, и хотели написать в книгу отзывов благодарность.

Звали этого человека Георгий Викторович Смирнов. Он был серьезным и веселым, насмешливым и влюбленным в картины, которые хранились в музее.

С тех пор я часто бывала в Русском музее.

Когда, окончив школу, я поступала в университет на искусствоведческое отделение, профессор В. Я. Бродский спросил на собеседовании, какое у меня любимое живописное произведение. Верная своим детским впечатлениям, я назвала «Последний день Помпеи».

Будучи уже аспиранткой, я по-прежнему ходила в музей, занималась в фондах отдела живописи, которым заведовал Георгий Викторович, самозабвенный служитель искусства, скромный труженник Русского музея.

Каждый раз я радовалась, что я в музее, что всю жизнь буду заниматься искусством, и что рядом со мной такие хорошие люди, влюбленные в свое дело.

Там, в фондах живописи, «у Георгия Викторовича», я познакомилась с искусством, тогда еще находившимся под запретом для широкого зрителя.

Осторожно прислоненные рама к раме, стояли в музейных запасниках картины, принадлежавшие русскому авангарду, художественным объединениям «Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост».

Теперь они открыты для посетителей и экспонируются в залах музея...

Последний раз мы виделись с Георгием Викторовичем за несколько дней до его смерти, он оставался все таким же увлеченным своей работой.

Я часто вспоминаю его — худенького, сутулого, в очках, склонившегося над рукописью, но всегда готового встать, показать, помогать идущим вслед по его пути...

На «седьмое небо» поднимались к нам и в добрые и в самые трудные для нас времена наши верные «гатчинцы». Приходил Владислав Михайлович Глинка. Он консультировал фильм Сергея Бондарчука «Война и мир», рассказывал много интересного.

Ходил в очках (так и хочется сказать «пенсне»), изящно прихрамывая, с тросточкой. Был всегда общительный, любезный, светский.

С самым невозмутимым видом исполнял шуточную песню-балладу о красоте жизни, в которой «пэрсиянки есть», а на худой конец и «пэрсик можно съесть».

Папа мой сочинил про Владмиха «дружеский стих»:

Все стареет в этом мире,  
Человек и зверь и пташка,  
Даже малая букашка.  
Лишь один игрок на лире  
Вечно молод, бодр и лих,  
Это рыцарь чудотворный,  
Нестареющий Владмих.

Забегал к нам «на огонек», как он любил говорить, Алексей Александрович Вахрамеев, сын известного в 1920-е годы художника Александра Вахрамеева и сам художник.

Очень добрый, всегда улыбающийся, он отличался необыкновенной рассеянностью, за что родные прозвали его «Алеша-ша». С ним постоянно происходили всякие нелепые несуразицы.

Как-то раз придя к нам, он в качестве подарка стал торжественно разворачивать на столе пакет, который его жена просила выбросить во дворе в мусорный ящик. При полном конфузе он вспомнил, что, перепутав упаковки, в мусорный ящик отправил предназначавшийся нам подарок.

Папа часто приводил с собой искусствоведа Всеволода Николаевича Петрова, отец которого был выдающимся хирургом, чье имя носит основанный им онкологический институт.

Всеволод Николаевич писал о русских скульпторах, о конном памятнике Петру I у Михайловского замка и о «конях Клодта» на Невском проспекте.

Среди искусствоведов Всеволод Николаевич слыл тонким специалистом и рафинированным эстетом.

Он приходил к нам со своей женой Мариной, обаятельной женщиной, которую дома и в дружеском кругу звали на французский манер «Маришон». Как шутя объяснял сам Всеволод Николаевич, звали так «из дендизма».

Его трогательный «рафинированный дендизм» мне пришлось испытать на себе. Я попросила его прочитать мою аспирантскую статью и высказать свое суждение. Читал он долго, недели две, три, а потом, тщательно подбирая слова, произнес: «Достоинo, Наташенька, вполне достоинo: жесткий структурный каркас и множество вкусных деталей».

В это же время папа вместе с Владмихом писал книгу «Военная галерея Зимнего дворца». Они постоянно говорили об этом, рассказывали об обнаруженных в архивах документах из жизни героев Отечественной войны 1812 года. Они жили в этом. Обсуждали главы своей книги, спорили, ссорились, и тогда возмущенный баритон отца становился слышным на лестничной площадке.

Георгий Викторович Смирнов приходил с женой Цецилией Арьевой, сотрудницей Русского музея, сердечной, ласковой женщиной,



и со своей сестрой Татьяной Викторовной, артисткой кукольного театра Деммени.

Несколько раз она приводила к нам известного артиста Дмитрия Журавлева. Она так и сказала:

— Вот привела к вам Журавлей, а это главный Журавль — Димочка.

Он читал — да еще как читал! — Пушкина, его «Маленькие трагедии».

Как будто тень самого Пушкина вызывал Дмитрий Журавлев своей декламацией. Это было великое мастерство, подлинный артистизм.

Татьяна Викторовна обладала таким звонким и радостным голосом, что, казалось, сейчас, вот сейчас произойдет что-то очень радостное.

Голос, обещавший счастье! Когда она уходила, и ее голос переставал звучать, становилось как-то особенно тихо и грустно.

Она просила маму и мамину подругу, поэтессу Екатерину Серову написать для кукольного театра детскую пьесу в стихах. Екатерина Серова была тогда широко известна.

Ее стихи о цветах повторяли все малыши:

Колокольчик голубой  
Поклонился нам с тобой;  
Колокольчики цветы  
Очень вежливы,  
— А ты?

Мама с Катей выдумали какой-то веселый душевный сюжет, Катя написала стихи, очень милые, совершенно детские. Но, к сожалению, именно стихи послужили препятствием: куклы-марионетки плохо подчинялись стихотворному ритму.

Мы все огорчились, особенно Татьяна Викторовна. Ей это препятствие казалось преодолимым. В действительности же оно требовало большого и сложного предварительного труда артиста, ведущего куклу.

Все эти люди, бескорыстные, увлеченные своим делом, жили и дышали тем же, чем дышали мы.

Прекрасные своей светлой душой, они словно вопреки жизненным бурям и смертоносным ветрам обладали талисманом непреходящей молодости.

Как-то раз Татьяна Викторовна Смирнова привела с собой известную ленинградскую балерину Татьяну Вечеслову.

Татьяна Михайловна рассказывала о зарубежных гастролях. В нашей тесноте на свободном кусочке пространства между столом и кроватью показала свое фуэте.

Уходя от нас, приостановилась в дверях и сказала:

— Когда я вошла, меня поразила ваша комната. Мало того, что маленькая, еще и кривая. Я ведь не знала, что это бывшая ванная. Но теперь остается ощущение какой-то возвышенной устремленности.

Знаете, такое чувство бывает в танце — Татьяна Михайловна виновато улыбнулась, — я не должна снова говорить о танцах. Самое главное, что я нашла здесь родные души.

Спасибо вам. Вы — настоящая петербургская интеллигенция. Чтобы с ней ни делали, как бы ни испытывали, она остается аристократией духа.

А потом у нас с вами есть великое искусство, которому мы служим. Оно помогает сближению душ.

Вечеслова ушла, но с нами, словно с запахом ее духов, осталось чуть грустное чувство чего-то неуловимого и прекрасного. Так бывает при соприкосновении с подлинным искусством.